

АЛЕКСАНДР ФУФЛЫГИН



ЮЛЕЧКА УЕХАЛА

РАССКАЗ

Неприязнь к разного рода художникам была у Сережи в крови — эдакой, если так можно выразиться, обстоятельной пылкой любви к Юлечке. Он старательно контролировал Юлечкины связи и отношения, не подпуская к ней сомнительных лиц, не позволял им к ней прикасаться и пальцем и делать ей томных, как ему мнилось, предложений позировать. Он всегда был готов к тому, что нет-нет да и выметнется какой-нибудь очередной растрепан из галдежа очередной вечеринки, чтобы предложить ей уединиться в художественной мастерской с исключительно творческими целями. Напор был силен: искусники всех мастей поджидали Юлечку и в толкотне ту-совок, и в примерочных обувных бутиков, и в складского вида залах гипермаркетов.

К Юлечке вообще липло слишком много всякого люда, и стоило оставить ее одну, как с ней уже рядом тащилось какое-нибудь мурло, метящее в носильщики: и манерно перло пакет с чипсами или с пачкою чая, и старалось аристократично нести голову, и выпячивало грудь. Художниками они называли себя сами, когда вдруг, откуда ни возьмись, вырастали из земли или выскакивали из-за углов, облаченные в какую-то неестественно торжественную любезность, готовые принять под локоток, готовые поддержать разговор, лебезить и объяснить, что все они художники, художники, художники, черт их подери!

ФУФЛЫГИН Александр Валерьевич родился в 1971 году в Перми. После окончания средней школы работал киномехаником, служил в армии. Окончил Западноуральский институт экономики и права. Печатался в журналах "Русская провинция", "Урал", "Октябрь", "Наш современник" и других. Член Союза писателей России. Живет в Перми.

Сереее же надоела вся их трепотня про Юлечкину точеную ножку, хотя ее ножка, действительно, была точеной, и он, в принципе, сам считал, что девушка вообще для него начинается с точеной ножки, — а своего положения невидимки он выносить просто не мог. Сереее же был тонок и хрупок, узколиц и узкоплеч, и ему еще только предстояло обучаться науке ухаживания. Лица же, суетящиеся вокруг его Юлечки, чуя его эту неискушенность в светских приемах, несмотря на его непосредственное присутствие, все же тащились рядом, и отлипали нехотя, лишь спустя некоторое время, вымотав весь запас его нервов. Хотя, мытьем и катаньем, он все же прилагал свою руку к тому, чтобы от них всех избавиться, пусть и выглядело со стороны все это скверно. Юлечку он встречал отовсюду. С Юлечкой он был повсеместно и ежедневно. Юлечку он звонил вечерами на домашний, в принципе допуская предательскую ложь мобильного, прикрывающего ее истинное местонахождение. В их полнощных беседах Сереее же успокаивался, хотя, в сущности, это была бесконечная, ничего не стоящая болтовня о пустом.

Как вдруг к нему подоспевали прозрения, что к ней никак нельзя было не лишнуть: так воздушен и многокрасочен был ее облик и отзывающийся цветами воздух, отталкиваемый ею, но не перестающий кудрявиться вокруг нее, и ее робость, сквозь голубизну которой, как сквозь волнение, проступали отчаянные, захватывающие дух глубины. Его отпусало, ему ненадолго легчало; он отправлял Юлечку одну туда и сюда; и пробовал порхать в необычных и легких волнах беспечности, прислушиваясь к себе и дивясь своей внутренней тишине; и даже самолично водил Юлечку в фотосалон. Фотограф в пиджаке с засаленным боком и с плечами, убежденными перхотью, тяжело вился над нею, как перегруженный нектаром мотылек, и трогал ее лапками, вымазанными в пыльце, и щедро лил меду в свои бессмысленные речи. Расстаравшись, он умудрялся быть одновременно с того и с другого ее боку, отчего чрезмерно потел. Сереее же убивал его стулом, метя в самое тонкое место под крыльями. Фотограф умирал медленно, странно шевеля пушистым брюшком, из которого выходили его внутренности, похожие на гель, и цепляясь лапками за воздух. Фотографии были готовы на следующий день (Сереее же получал их сам!). Фотограф был сдержан и молчалив. Сереее же корректен и мрачен.

Сереее же помнил белый день своего знакомства с Юлечкой: именно белый, хоть и летний: но почему белый, он не мог себе объяснить, не мог приделать к сочно-зеленому колышущемуся ярлыку белую нащепку. Разинутая пастью арка, знаменующая вход в городской парк. Очередной художник, или, скорее, фотограф, целящийся в Юлечку третьим своим, оптическим глазом. Головокружительный плен каруселей. Грохочущий, многоголосый визг “американских горок”. Случайное касание локтей, вызывавшее кипение сердец. Завиток на золотом пушке щеки, решивший все. Ночь, искалеченная райской бессонницей. Сереее же, я не сплю, звоню тебе, чтобы. Мальчик мой, Сереее жеенька, поговори со мной, потому что я без тебя. Потому что пододеяльник жесток, как фольга. Потому что темноты я боюсь: в ней нет тебя.

Тогда же он начал писать стихи — краснел, если его заставляли врасплох, — повсюду, на неиспользованных салфетках, на исподних сторонах рецептов, на каких-то случайных газетных полях оставлял строфы, как чересчур разросшиеся автографы. Поначалу он относился к своей новой страсти достаточно легко, иногда читая стихи Юлечке: с нарочитой патетикой, стоя, по-пушкински держа рукой рукописный листок на отлете, отставив ногу. Юлечка же как-то сразу же прониклась к его стихам любовью, дурачество его не принимала, требуя от него серьезности и глубины, и обязательно серьезно, и погружалась по плечи в свои мысли, так, что ему приходилось ее оттуда выуживать. В конце концов Сереее же посерьезнел сам. Ему вдруг показались чрезвычайно увлекательными головоломный процесс сложения строф и эта жадная ловитва слов в многостраничные словари. Он чувствовал себя укротителем поэзии, ее распорядителем, полководцем. Его взгляд стал блуждать или стекленеть временами, и часто казалось со стороны, будто взор его проникает сквозь предметы.

— Так-так, — однажды было ему сказано кем-то совершенно незначительным, чепуховым настолько, что лицо его совершенно не удержалось в материале памяти, а осталось лишь это “так-так” и еще несколько фраз.

— Так-так, — однажды было отмечено, — а ведь вам, Сергей, пора отдать ваши стихи в журналы и в газеты.

В новую струю Сережа нырнул легко, с уверенностью, что будет принят немедленно и радушно: им владел розовый юношеский максимализм, согласно указаниям которого он и мотался по редакциям. Жизнь его стала поделенной на продолжительные коридоры, полные безликих дверей, в которых, как привидения, бродили канцелярские запахи. Мешок, старательно набитый было надеждами, минуемо тощал, и вся эта коридорная возня потихоньку утихомирилась сама собой. Сережа для себя отметил эту странность: бушующее, порывистое пламя, поддерживающее жар души, теперь стало ровным, спокойным, но чрезвычайно стойким.

Всю тишь и благодать взбаламутил Саженин: ворвался, сцапал первую попавшуюся под руку рукопись, вчитался в нее без разрешения, словно вгрызся, смял, скомкал, думая, видимо, что складывает четверо, прикарманил и приказным тоном попросил дать ему время. Стихи немедленно появились в поэтическом альманахе, мало кому известном, но ярком, пестром и неожиданно тучном. Сережа, получив экземпляр, устал листать его, ища своих творений. Неожиданно нашел там свою фотографию, невесть откуда взявшуюся (опять услуга Саженина), и остался очень доволен шрифтом, расположением строф и неожиданным объемом напечатанного. Из вступительного слова главного редактора альманаха (глянцевая лысина, толстый нос, стариковское выражение щек) он с удивлением выудил информацию о том, как он сам, преодолев нещадную атаку конкуренции, оказался одним из победителей объявленного поэтического марафона. Этапов марафона было три, писалось в альманахе, и участники, со всей серьезностью взявшие старт, прошли их все с достоинством, и победа присуждена двум самым что ни на есть подающим надежды. После допроса с пристрастием (впрочем, он выдал бы все и за так) Саженин выболтал тайну: это была его работа, и сейчас их, двух победителей марафона, ждет профессиональная вылазка на сходку молодых поэтов с толстым названием “съезд”. Это слово Саженин произносил обязательно низким тоном, словно смакуя. Будучи соблазнен красочными росказнями, Сережа ехать согласился, на что Саженин сообщил, что и согласия, в сущности, никакого не требовалось, потому что он, опять теми же стараниями, давно уже внесен в список участников. Все происходило так головокружительно быстро, что Сережа пожалел вдруг, что согласился, да так пожалел, как разве жалеют только отнятую конечность.

Он за какие-то несколько дней измаялся так, что спал с лица. Когда же Юлечка сообщила ему о том, что сама уезжает на две недели, и когда черновик их расставания был вычерчен в его сознании, он сначала испугался так, что даже, если так можно выразиться, испугался этого своего испуга. Это была всего лишь невинная двухнедельная семейная поездка, но он вдруг заметался, меряя шагами и махами комнаты и даже, кажется, разговаривая сам с собой. Его испугало странное совпадение, которое он готов был принять за настоящий знак. Затем он дал себе передышку, сев на диван и подумав, что все не так и плохо, и вообще, плохого ничего нет в том, что расставанием они с Юлечкой проверяют свои чувства. Он ощутил всю отвратительную избытость, всю исключительную глянцевость этой мыслишки. Впрочем, если она завелась в его голове, то вывести ее оттуда у него уж не было никакой возможности.

Он позвонил Юлечке по телефону, и пока с ней объяснялся, трубка вспотела и нагрелась от его щеки. Юлечка, кажется, признавала всю эту его поездку захватывающим дух мероприятием, и заверяла, что он будет полнейшим из дураков, если откажется. Позвони мне вечером. В самом деле, подумалось ему, когда он отбросил мокрую, с трудом переводящую дыхание трубку на диван, — что случится такого? Что в самом-то деле он теряет? Ну, проведет несколько ночек без ее телефонных шепотов. Несколько дней без ее поцелуев, лепестковая нежность которых такова, что он никогда

не мог точно определить, если закрывал глаза, куда она его целует. Отдастся работе съезда, не зря же, в самом деле, съехались. Напьется водки с Сажениным, хотя с водкой и с Сажениным дружба ему была противопоказана. Проспит упорядоченную скукотищу докладов. Взорвет черные устои ночи первой буквой алфавита, выдохнутой вместе с диким криком. Затем он вернется, сняв самого себя с подножки вагона и поставив на перрон. Кольцо Юлечкиных рук — вокруг его шеи. Запах ее волос — щекочущий верхнюю губу.

Однако волнению его не было предела: он метался, меряя шагами и махами пространство, и даже, кажется, зачем-то угрожал расправою безвинному тополи, растущему за окном. Отовсюду из углов и пространств выдвинулись незнакомые надоедливые личности, претендующие на многое: он с жаром объяснял им то и это. Он опять звонил по всем ее телефонам, но трубка, еще не отошедшая от прежних жарких мук, была пуста, и он холодел нутром. Кто-то тщедушный в нем объяснял кому-то массивному, занявшему все остальное пространство, что Юлечка остается под надзором родителей, а, в случае с ней — это самый страшный на свете надзор, крепость, обнесенная островерхим частоколом. Но успокоения ему мысль эта не принесла. Сквозь неплотные связанные кольца частокола немедленно просовывалась розовая морда и уже совала туда же свое острое плечо. С тылу крепости подкрадывалась персона, вынужденно водящая приятельство с азкезой и мордобитием, оттого имеющая лицо шельмоватое. Кто-то, построив губы в сальную улыбку, мокро целовал Юлечкину руку, протянутую лишь для рукопожатия, глазом уже всюю примериваясь к шейке.

Он провел после расставания с ней два отвратительнейших дня, полных скуки и ходьбы: кажется, будто он поставил себе целью ходьбу без цели как средство для препровождения времени, отшагивал целые кварталы, погруженный в себя. Он набирал номер ее мобильного, и разговаривал с ней по телефону, обсуждая свои страхи, а она обязательно просила его не изводить себя, пойти, например, погулять. Голосу ее расстояние, разделяющее их, придавало странноватый, непривычный оттенок. Она наспех выболтала ему все новости, встретившие ее на новом месте: двоюродный брат вырос, став неприятным мужланом; котенок, которого она в позапрошлом году отпаивала из пипетки молоком, совершенно одичал; бомбошка на бабушкиной прическе стала толще и болтается при ходьбе еще уморительней; папа ночью упал с кровати, забыв, что спит с краю. Сережа пробовал смеяться, но смеха не выходило. Заканчивали разговоры они всегда долго: он тянул резину, пытаясь затянуть Юлечку в бесконечный разговор, но она жарко перебивала его, говорила, что завалена делами, что ее зовет мама, что сердится папа, что она вообще не может долго разговаривать по телефону, не видя его лица, прощалась, быстро и часто целовала трубку и отключалась.

Он чувствовал, что над ним довлечет какая-то странная сила, какая-то нелепость, от которой не отвязаться без посторонней помощи. Так, подумалось ему, наверное, и сходят с ума: бродя из угла в угол, добредают, в конце концов, до помутнения в голове. Он поднялся вдруг над своей жизнью без Юлечки, чтобы сверху взглянуть на все это и без того кажущееся опустевшим: и жизнь его показалась ему нищей и бесхозной. В нее, как в кладовку, оказалось накидано много всякой всячины, давно запыленной и присвоенной пауком, — и сквозь всю эту бесхозяйственность ему надлежало проложить тропку или даже очистить от нее середину своей жизни.

Как умудрилась Юлечка враси в него так, чтобы все, лишненное ее касания и не пригодное быть полезным ей, так скоро заплесневело? Сережа стал быстро перебирать в памяти моменты, бродя по комнате и словно расставляя метки. На пыльном экране телевизора Юлечкиным пальцем выведен крест. Кресло останется в живых: Юлечка любила сидеть в нем комочком, прыгнув в него, как в уютную норку выпрыгивает уютная ласка. Столовым приборам повезло больше всех: некоторых из них касались ее губы, — и они оставлены все из-за невозможности идентификации счастливиц. Так можно сойти с ума, решил он, сбрендить, разглядывая мебель и вилки.

Мысль его, освобожденная и острая, немедленно ринулась наружу. Нужно позвонить Саженину. Тот был большой скотиной, но хорошим поэтом, как журналист сотрудничал с кучей всяких газет, готовя сумасшедшие репортажи о разных разностях, о мамашах, душащих новорожденных, о пенсионерах, общающихся — от безысходности — с пауками и тараканами. Несмотря на то, что Саженин тоже должен был ехать на съезд, позвонить ему было необходимо еще и потому, что он обладал способностями сводить все проблемы на пфук, разговоры на баб, но зато пустяки раздуть, как воздушные шары, и впоследствии хлопнуть ими, чтобы было много треску и шуму. Он вообще любил много шуму и треску, воспоминания о нем скакали в Сережиной голове разномастными, хвостатыми жеребцами. Саженина нельзя было подпускать слишком близко: он имел дурную привычку пускать корни, оставлять одежду в самых что ни на есть укромных местах хозяйских шифоньеров, чтобы потом часто возвращаться за ними. Он был невыносим своей привычкой из раза в раз, копируя свои же интонации и выраженья лица, как шарманка, повествовать эпизод из первого класса средней школы. В истории этой его с диким жаром целовали одноклассницы (точнее, второклассницы!), целовали в обе его щеки и, доведя поцелуями себя до такой степени страстности, в эти самые щеки его искусывали, искусывали его в школьную форму, и в учебники, и в тетради, — а зачем, не смогли потом сами объяснить ни жертве, ни родителям, ни завучу школы. Он всегда был в пути: с гитарой, всегда с ней, всегда с чужой, и всегда с разными, а когда останавливался или — не дай Бог! — присаживался на ваш диван или на вашей лестнице, бросался брэнчать какие-то самодельные композиции. Немедленно тут же возле него обязательно оказывался кто-то, одобрительно кивающий в такт и, оказывается, хорошо знавший эту песню, — и так же неожиданно растворялся в воздухе. Какая-нибудь человекообразная сомнамбула вдруг входила в вашу комнату, принимала скорбную позу на вашей кровати, пила невесть откуда оказавшееся в ее руках ваше пиво, все аккуратно допивала, дослушивала и таинственно растворялась в воздухе, предварительно испортив его дешевым сигаретным дымом. Из подъезда, возле которого вы с Сажениным оказались совершенно случайно, выходила рыжая образина, мужеподобная и в мужских одеждах, но с великолепно стоящей грудью, вооруженная пузырьком с коньяком, просила сыграть ее любимую, выпивала коньяк сама, хрипло звала вас Серым, а Саженина Сажей, под конец клянясь, будто ближе Сажи и Серого у нее нет никого на свете.

С Сажениным было легко: хватало одного телефонного звонка, чтобы он вырастал перед вами сивкой-буркой. В такие минуты непритязательная его физиономия, в которой, казалось, вовсе не было всего того, что есть в лице живом, могла показаться чем-то особенно дорогим и нужным, а его поза вразвалку посереде любимого Юлечкиного кресла — органично вписывающейся в угрюмую обстановку комнаты. Вам вдруг даже начинало казаться, что вы зря ему звонили: он и так к тому времени стоял возле вашей двери, готовый в нее войти без приглашения.

— Что это с тобой? — спросил Саженин, барабанил пальцами по коленке. — Заперся тут один и глядишь волком. Собирай-ка чемодан: ночь на дворе!

Он потянулся за гитарой, кажется, пытавшейся устало отпрянуть от его пятерни, и, кряхтя, продолжил:

— Столько вокруг дел, столько еще не вышитого, просто черт знает что. Подтолкни-ка ко мне эту упрямую дуру.

— Не нужно здесь никакого брэнчания, — попросил Сережа, рассеянно глядя вокруг себя в поисках нужных вещей.

— Сюда-а, — протянул Саженин повелительно, продолжая кряхтеть и тянуться рукой. Гитара, потеряв равновесие, свалилась, желая отпрыгнуть от него подальше, и из нутра ее пошел долгий, болезненный гул.

Сережа вдруг обреченно прочувствовал всю остроту и неожиданность своего положения, всю безвыходность обстановки и звенящую скорбь паузы. Паузу подхватили стены, нахмурился и стал ниже потолок так, что, кажется, уже и сама люстра была где-то чуть ли не возле уха.

— Бренчание, — влез в паузу Саженин, — это, брат, такая штука, состоящая из аккордов. Это ловкие крабы рук и беготня их по поверхности грифа. Не помню, кто сказал, может быть, и я.

Он был беззаботен, нес околесицу лениво, словно отработывал долг. Сережа на минуту пожалел, что вызвал его: кажется, все текло само по себе, все ленилось и сокрушаться и существовать, все приняло ту же удобную позу, в какой находился Саженин.

Крякнув, тот комически полез из кресла, рискуя выпасть из него, как из гнезда, достал-таки гитару, ногами оставаясь в кресле, снова уселся, пристроил инструмент на коленях, взял сложный аккорд и вдруг с бряканьем, даже проводя взглядом движение инструмента, отложил гитару в сторону: зазвонил его телефон. Он принялся прохаживаться по комнате, перешагивая через наличествующие лишь в его сознании загвоздки и при этом высоко поднимая колени. Со стороны казалось, будто он разговаривает с самим телефоном, так оживленна была его мимика: он даже, кажется, пару раз отнимал трубку от уха, подносил к лицу и с укоризной глядел на нее.

Наболтавшись, он вновь влез в кресло; вид при этом у него был заговорщический, и на лбу прибавилось морщин.

— Я переночую у тебя, — сказал он. В вопросе его уже содержалось утверждение, поэтому Сережа промолчал. — Я и сумку с собой взял, а?

На столе появилась бутылка водки и четверть буханки белого хлеба. Бутылка была новенькая и радостно блестела, точно радовалась хорошей компании. Хлеб был в целлофановом пакете, и этот плен был для него пыткой: стенки изнутри покрылись испариной.

— Я водку пить не буду, — торжественно сказал Сережа.

Саженин открыл пробку.

— Дай сардельку, — попросил он.

— Сарделька на завтрак. Есть паштет, но подсохший.

— Дай паштету, — копируя свой прежний тон, попросил Саженин, ломая хлеб.

— Нож же есть, — с укоризной произнес Сережа.

— С ножом не вкусно, — ответил Саженин, — дай рюмку.

Сережа дал ему паштет и рюмку. Саженин клал паштет кусками на хлебные куски, размазывал его по хлебу языком, затем засовывая в рот кусок целиком. Выражение лица его становилось в этот момент страшно комическим, точно он комик и, будучи комиком, готовится демонстрировать публике, как он будет сейчас заглывать арбуз. Водка лилась в рюмку весело и со звуком, который можно было принять за куриное клохтанье. Водка лилась в горло Саженина беззвучно. Вид у Саженина был в этот момент такой, будто водку он категорически не переносит; кажется, Сережа еще не видел настолько перекошенных лиц.

Сереже тут представилось: ночь, чернота, ужасающий храп Саженина, подступающее к горлу утро.

— Ладно, — сказал он быстро и махнул рукой, — давай и мне.

— Это дело, — засуетился Саженин, грубо беря бутылку за горло.

Когда водка кончилась, легли спать. Саженин лег на диван, как был, не раздеваясь, не сняв носков и джемпера, лишь скинув одни штаны, и заснул мгновенно, едва коснувшись ухом подушки. Он давал такого храпака, отчего чуть заметно колыхались шторы на окнах. Храп его все время будто поднимался в гору, рвя жилы от напряжения, и в нем слышались то обвалы, то грохоты обрушивающихся вод. Сережа что есть мочи хлопал в ладоши: резкий звук и содрогание воздуха делали чудо, и Саженин глотал захваченный ртом воздух, стихал на время, но в следующую минуту его, как разбуженный вулкан, прорывало, и клопочущая лава его храпа выплескивалась наружу.

Все Сережины страхи осуществились. Одеядо отяжелело, ночь всей своей грузностью навалилась поверх него. Сережа лежал на спине, спиной чувствуя комья матраса, неизвестно откуда там взявшиеся, со страхом понимая, как неумолимо бледнеет потолок. Ему даже стало казаться, что ночь эта была насильно укорочена, что он лежал с закрытыми глазами, но сквозь закрытые глаза все равно видел комнату. Когда же в комнату вполз вихрь и захо-

дил под потолком по какому-то своему, неотчетливому, но все же геометрически выверенному плану, заверещал будильник.

Саженин спал поперек устроенного им на диване бардака. Под ним, на нем — какие-то груды вещей, одеяло, жестоко скрученное и передавленное пополам, и ужасно измятые штаны, а из всего этого вороха торчала нога в протертом на подошве носке. Пальцы на ноге порывисто шевелились.

— Подъем, — сказал Сережа, вызволяя штаны из грузного плена.

Саженин немного постонал, почмокал немного губами, открыл один глаз и захрапел вновь, кажется, не успев даже его толком прикрыть.

— Автобус через полчаса, — напомнил ему Сережа громко, стараясь, чтобы в голосе было больше насады: немедленно лицо Саженина обрело осмысленность, в нем разыгралась жизнь, дремавшая досель. Одеяло, тяжелящее и сковывающее, было отброшено на пол, мослы, наверное, все имеющиеся в организме Саженина, хрустнули.

— Ну-с, — закричал Саженин, вскакивая и потирая руки, — поперли отсюда!

— Надень штаны, — попросил Сережа, бросая ему их.

Сережа пил чай, глядя, как Саженин ест холодную сардельку на ходу, натягивая брюки. Он держал ее, как сигару, зубами в углу рта и вывозил жиром все свои щеки. Он, кажется, и не собирался терзать организм бессмысленным умываньем и иным моционом, а был готов к походу уже через какие-нибудь пять минут, накинув куртку.

— Чай я не буду, — сказал Саженин. — И так во рту дерибас.

— Тогда пошли, — сказал Сережа, уже покончив с завтраком, и они вышли из квартиры. Сережа тащил обе сумки, Саженин — гитару.

Вызвали лифт. В лифте Саженин был вызывающе энергичен, даже бунен, и давал медленно ползущей вниз кабине такого жару, что она опасно грохотала и раскачивалась.

— Вот я тоже, — говорил Саженин нарочито приглушенным и таинственным тоном, постоянно третируя кулаком Сережин бок, — как только выпадаю из-под контроля, становлюсь охоч до кошечек. Очень хорошо, когда девка крупная. Не толстомысая, конечно, но наваристая девка такая, плечистая даже, задастая обязательно. Колени обязательно должны быть. Есть в этом какая-то дурь, таких не страшно шархнуть ладонью по брандмауеру, чтобы с отяжкой и со шлепком на всю вселенную. Они тогда очень чувственно взвизгивают.

Лифт громыхал и гудел, и, кажется, не было конца его долгому вертикальному, кропотливому падению, как и не было конца туповатой болтовне Саженина.

— Я люблю так, — продолжал Саженин. — Чтобы она могла чувствительно двинуть плечом. Ее берешь, а она выворачивает тебе руку и оставляет синяки.

— Это отвратительно, — заметил Сережа.

— Ты ни фига не понимаешь, — ответил Саженин, — зато, когда бастион взят, он ноет под тобой и бушует так, что только береги конечности.

— Так легко почувствовать себя пауком, — выдал Сережа, поживившись: возле подъездной двери бесчинствовал сквозняк.

Вышли из подъезда.

— Допустим, мои пристрастия ясны как белый день, — продолжал Саженин, — но вот ты в любви бездарь. Здесь направо нам. Твоя тяга к отошальным малолеткам когда-то должна пройти. Ты задержался на школьной скамье и все еще мечтаешь заглянуть под юбку какой-нибудь отличнице. Пора любить женщин, готовых сами для тебя юбку задрать. Где-то здесь арка. А, вон она. Нам в нее, и на трамвайную остановку. Поедем со стукотком. Откуда это воняет?

В трамвае:

— Тут, главное, что?

Сережа пожал плечами.

— Тут, главное, ощутить момент. Моменты бывают, я скажу тебе, охонюшки. — Билетеру: — Два билета: за меня и вон за того парня. — Се-

реже: — Хочется порвать к чертям, чтобы пуговицы врозь. Грудь — это немаловажно, скажу я тебе. А какая у твоей десятиклассницы может быть грудь? Никакой не может быть. — Помолчали. — Как все-таки застраивается город. Это просто черт-те что творится. Этой башни еще на той неделе не было, а сегодня, смотри, торчит. Хотя, скажу тебе так, бывают у десятиклассниц такие груди, что просто...

— Еще в прошлом году здесь торчала эта башня, — заметил Сережа.

— В прошлом году ее точно не было.

На улице:

— Вот и наш автобус. Смотри в оба. Поэтессы обычно задерганы, и здесь нам не светит ничего особенного. Хотя и поэтессы бывают: охо-хо!

Саженин был всегда и везде своим: немедленно яростно бросался пожимать руки, обнимать талии, словно нарочно приготовленные для объятий, и пожимал и обнимал их со знанием дела.

Народец толкся возле автобуса разный, и в салоне сидели многие, скромно застобившие себе выгодные местечки возле окон. Кто-то внутри автобусного салона спал в кошмарно неудобной утренней позе, розовым виском давя в мутноватое окно, сильно откинув голову, отчего у него остро торчал кадык. Сережа влез в автобус, заняв место Саженину: знакомиться с кем-то ему не хотелось. Он понял, что тогда придется вести со всей этой безымянной людской массой вынужденно-непринужденные беседы, испускать будто бы в пространство реплики и шутки. Немедленно он позавидовал спящему, всей той легкости, с какой тот, пристроив висок к дымчатой от близкого его дыхания поверхности окна, забылся ненарушимым, полноценным сном. Курильщики снаружи курили солидно и даже величаво, одинаково глубокомысленно щурясь от дыма и часто кивая, словно в чем-то беспрестанно соглашаясь друг с другом. Сережа пробовал закрыть глаза, устроиться поудобнее: но вдруг заупрямилось кресло, недовольно давя ему в бока. Кто-то коварно, пользуясь его полудремотным состоянием, пробрался за спину, уселся там, в соседних креслах, и стал шебаршиться, размещая свои кажущиеся гигантскими телеса. Когда же Сережина дрема загустела настолько, что он в ней стал погрязать, вся уличная гурьба, дымная и шумная, валом повалила в салон, коленями и животами проталкивая вперед себя толстые сумки. Протиснулся Саженин, с блаженным лицом сел рядом и сразу же принялся общаться, кажется, со всей сторонами света сразу, жутко вертясь. Все дружно поучаствовали в переключке. Как-то уж очень сердито шипя, закрылись двери, и автобус тронулся.

Словно провоцируемые струящейся под колесами дорогой, в Сережиной голове потоком потекли мысли о Юлечке. Сережа словно вознесся над автобусным салоном, над всем этим, беспечным и бубнящим. Он улыбался, вдавившись своим виском в холодный висок своего улыбающегося двойника по ту сторону окна, — и улыбался мыслям о бессмысленности и безысходности всего существующего вне этого автобуса. Пусть стройный образ его чувства никак не складывался в его голове, и лица Юлечки было не выловить в этом кипучем потоке, но ему было достаточно эйфории, в которой он теперь купался. Деревья и деревушки, бесконечной и бестолковой чередой плывущие мимо, ровного течения мыслей его никак не расстроили. Он был беспокоен, но волнение его было приятным, словно он ехал на встречу, которую предвкушал. Он огляделся вокруг, чуть привстав в кресле: и автобус стал вдруг для него прозрачен. Сквозь все вдруг обнажившиеся окна, обрамленные живой бахромой пошлых обывательских кисточек, Сережа увидел распахнутые охваты целого мира. Сам он, как стосковавшееся по родительскому теплу чадо, несся теперь весьма быстроногим, чтобы ворваться, чтобы упасть в распахнутые перед ним объятия со всей возможной детской страстностью. Мир громоздился перед Сережей громадиной, такими необъятными широтами, когда не видишь им краев, и в них, как в чаше, плескался немислимый простор. Сереже пришло в голову, что он совершенно не представляет, что ему теперь делать со всем этим движущимся на него раздольем, с зеленоющими охватами листовых зарослей, с кавалькадой телеграфных столбов, почему-то напоминающих пустые виселицы. Ехали долго, и

Сережа, вдруг потеряв увертливый хвост мысли, стал смотреть по сторонам, стараясь внимательней вглядываться в лица. Это занятие его вдруг чрезвычайно увлекло, и он совершенно не заметил, как автобус нырнул в старые крашенные, военного типа, ворота.

Съезд разместили в пансионате. Немедленно по головам разнеслась мысль, что поэтические мероприятия, кажется, обречены на такие пансионаты: наверное, громко отметил кто-то, всем кажется, что нас надо, собрав, немедленно полечить. Общее веселье сплотило ряды. Саженин, издав себя, хитро обрушился на женские баулы и попер их целых три, сопровождаемый хихикающими и розовыми от удовольствия девушками. Регистрация прошла весело: все беспрестанно шутили; кто-то требовал заселять девушек к юношам; девушки краснели от удовольствия и отвечали неопределенно, шутки все же не подхватывая.

Поэтов встречали шведским столом, накрытым на российский манер: порции были уже выложены на отдельные тарелочки, вольности в обращении с едой не позволялось. Полдник был скуден, и в то же время кто-то предложил поберечь силы и места в желудках для банкета, который, как оказалось, был не за горами, но его никто не послушал. Со столов немедленно было сметено все съедобное. Серьезность, какая-то сосредоточенная напряженность тенью легли на лица поэтов, собравшихся могучими кучками: так действовало на литераторов полуголодное их состояние. Прием пищи плавно перетек в общее собрание.

Все было, как показалось Сереже, каким-то странным образом перепутано, какая-то бестолковая рука вразброс внесла в общий распорядок съезда записи, совершенно не задумываясь об их порядке. Бывают такие ощущения, когда, в сущности, на первый твой взгляд все стандартно: горизонт обручем, блюдо небес, подиум под открытым небом, исполненный из дерева, микрофон, как нельзя кстати прилаженный к обстоятельствам, человек в стареньком, но отлично сидящем костюме, говорящий умно о значении съезда и восхищающийся притоком молодых сил в современную поэзию, — но все словно вверх ногами. В каждом слове ведущего чувствовалась ненужная спешка, а в президиуме среди поэтов вертелось слово “банкет”, всякий раз исполняемое свистящим, будто стесняющимся шепотом. Кое-кто уже был на веселе и пускал в пространство реплики, не способствующие порядку; в заднем ряду давно заговорщически закусывали два пожилых поэта; казалось даже, будто вся эта торжественно-обязательная часть вовсе не торжественна и совершенно не обязательна. В конце концов, выступающий, скомкав доклад о современной поэзии, освободил место на трибуне. Ведущий съезда прочел жуткие стихи собственного сочинения, посвященные открытию мероприятия: ему устроили помпезную овацию. Сереже в какой-то момент показалось, будто обуявшая было всех жажда банкета пропала, но вскоре он понял, что все, в конце концов, к этому самому banquetу по-прежнему движется неумолимо. Кто-то из зала отмочил съедобную шутку. Кто-то припомнил чеховский рассказ об официанте, ненавидящем ресторанный же публику, прожигающую жизнь в жратве. Банкетное настроение обуяло поэтов — голод делал свое черное дело. Открытие съезда состоялось. Поэты разобрали чемоданы и сумки и отправились в гостиничные номера устраиваться.

Сережу поселили вместе с Сажениным. Комната в номере была узкой и длинной, возле стен ее стояли две армейского вида кровати и две битых жизнью тумбочки. Шифоньер, держащийся особняком, был обляпан жирными пальцами постояльцев. Саженин ворвался в него, исследуя его середку, тут же вытащил на свет из своей сумки черный щегольской костюм и повесил его в шифоньер, за шею выволок из сумки пеструю змею галстука, пристроил ее, свернувшуюся, на полочке.

— Слышал? — спросил он. — Вечером банкет. Тыр-тыр-тыр, все вокруг об этом банкете, тыр-тыр-тыр, прямо надоело. Хотя жрать, действительно, хочца. Жратва здесь, на банкете, скажу я тебе, богатая. В прошлом году давали стейки размером с тарелку, так мой сосед спрашивал меня, с какого краю это нужно есть. Первый раз, дурень, видел жареный свиной стейк.

Сереза лежал поверх одеяла и слушал протяжные жалобы своего желудка. Два Серезины джемпера, джинсы и другое заурядное барахло ожидали своей очереди, надеясь получить в аренду хотя бы одну полочку. У вещей, удобно устроенных в шифоньере Сажениным, был хозяйский вид, и сам Саженин, ответственно воркуя над ними, выглядел собственником, не желающим уступать отвоеванных приоритетов. Так что Серезе стало немного грустно от потрепанного обличья и печального выражения своих пожитков, от своей вынужденной отрешенности, от невзыскательного вида комнаты, от зябкого ландшафта за окном, от раздражающего нытья крана за стеной, чужого, но чрезвычайно знакомого тембра. Какие-то люди беспрестанно заглядывали в комнату, спрашивая то того, то этого: Серезе показалось, что у них одно выражение лица на всех, хотя Саженин на это яростно возражал.

От скуки принялись рыться в углах и нишах комнаты; нашли старый поэтический сборник, читали лежа, хохоча над фотомордами поэтов, которые почему-то все были черно-белыми и почему-то все подряд уродливые. Наотмечали вволю глагольных рифм. Надивились наличию неизменных березок за чьими-то запечатанными на зиму окнами. Громоподобно и многоного прошлись по коридорам пансионата, отмечая напряженное затишье, лишь изредка разрываемое отчаянным скрипом петель где-то и кем-то открываемого шкафа. Вдруг, как лавина, по лестнице скатывалась неизвестная компания, невесть откуда взявшаяся, и расшибалась о далекую дверь вниз. Подражая ей, ее раскатиستمому гомону, Сереза с Сажениным весьма лавинообразно сбежали вниз и вырвались наконец на волю. Немедленно вся загородная, сбереженная от смога и смрада красота открылась перед ними, осанистая и пышная. Они шли аккуратными, проложенными среди порослей глазастых петуний дорожками, там и тут изрисованными мелом: тут были и всяческие бесформенные бяки, и неизменные человечки с кочергами вместо ног, и супрематические нагромождения для девчачьих поскакушек. Как это, думалось Серезе, он до сих пор не заметил всей этой шири, всей этой поэтики смешанных лесов, окруживших пансионат, от которых идет такой дух, что хоть глотай его весь.

Банкет был шумным: воздух в столовой гроыхал, когда поэты, усаживаясь, воевали со стульями, еще не изучив их провинциальных, неуклюжих повадок. Рассаживались как попало, будучи еще незнакомыми друг с другом. Вели себя сдержанно, старательно придерживаясь этикета: девушки топырили мизинцы, держа остальными пальцами рюмки; мужчины дрессировали ножи и вилки. Мэтры, крепко выпив и немного закусив, рвались к микрофону отпускать спичи. Колонки чудовищно усиливали звук, но вредили ясности. Из всех отпущенных спичей молодежь не разобрала ни одного, хотя хлопала усердно, жуя.

Потом снова жили под грохотание никому пока не нужной музыки. Впрочем, некая, кажется, для чего-то специально приглашенная дама, широкая спиной и с вычурным начесом на голове, пробовала выдать гопака, но не выдала; пробовала выдать вальс, но не выдала вследствие неадекватного поведения партнера; пробовала выдать “барыню” и выдала, торжествуя, в одиночку, под совершенно неподходящую музыку.

Веселье пошло слоями. Наевшись, поэты отлипали от столов лениво, с каким-то беспросветным сожаленьем глядя на оставшуюся еду, и шли на улицу курить; а там уже в тяжелом дыму плели искусные витийствования и на сытые желудки решали судьбы искусства. Тут же брэнчали на гитаре: исполнялись песни исключительно собственных сочинений, в чем немедленно преуспел Саженин. Его было не остановить; он словно поставил себе целью перепеть все песни, сочиненные им. Когда от его рифмованных воплей уставали и шли в банкетный зал, где уже переминались под медленные композиции только что составленные парочки, — он пел для себя.

Потом друзья сидели рядом, обняв друг друга за плечи, чувствуя, как какая-то невыносимо дружеская нежность ореолом витает над ними, и признавались друг другу в чистой братской любви. Саженин вдруг стал возбужденным и начал соревноваться громогласностью с музыкой, орущей во всю силу динамиков, убеждая Серезу идти искать себе женщин. Сереза возражал, го-

воря, что бабы обыкновенно любят всяких там позеров и художников, а он вовсе не какой-то там художник, а поэт.

— Ты очень хороший поэт, — вдруг закричал Саженин, и закричал с какой-то неожиданной угрозой, напрягшись всем телом, отчего мышцы взбурились под его рубахой, и лицо его сделалось страшным. — Очень хороший! Ха-ро-ший!

— Художников любят, поэтов читают. Меня читают как поэта, мою поэзию, я имею в виду все, написанное когда-либо и не написанное мной тоже, читают, читают, без остановки, — путано объяснил Сережа, не сдрейфив от его криков, и даже немного возгордился этой своей внезапной неустрашимостью.

— Тебя очень многие читают, — опять закричал Саженин и затряс головой так, словно желал сбросить ее с плеч, — очень и очень многие. Я же видел это своими собственными глазами, уж ты можешь мне верить, потому что я твой друг, и все вижу собственными глазами. Тебе как поэту просто необходимо найти какую-нибудь бабу, лучше старше тебя, чтобы она дала тебе себя отчебучить, а то на тебе скоро плесень заведется.

Придя к согласию, они встали и неустойчиво, хотя и четвероного, пошли к выходу.

— Между прочим, — ответил Сережа туманно, — я никого себя читать не заставляю. Поэзия вообще дело добровольное.

— Это верно, — согласился Саженин.

— Они сами читают меня, что бы я ни говорил им, как бы ни отбрыкивался, — продолжал Сережа, — читают и читают без удержу, и что же с ними я могу поделать?

— Ничего ты с ними не сможешь сделать, — ответил Саженин, — они сами по себе, а мы с тобой сами по себе.

Пошли на воздух, но где-то в двусторчатой болтанке дверного проема Саженин потерялся. На мраморном крыльце — с десяток изможденных танцами, мокролобых курильщиков мужского пола, держащихся стайкой, белобрысая девушка, служащая осью мужской, вьющейся вокруг нее компании, и вокруг всех них кучевое облако на правах назойливого соглядата, которое все старались отогнать взмахами ладоней. Поэты производили впечатление на даму: поминутно кто-нибудь, чрезвычайно довольный, распустил пышный хвост и растопырив перья, выдавал очередной анекдотец, и все дико ржали. А за ним уже следующий, выскакивая на середину с особой прытью, будто боясь быть опереженным, кудахтал и бил копытом, и делал уморительные рожи: все, чтобы вызвать колокольчатый женский хохоток. Сереже немедленно стало тоскливо: вида чужого, легко обходящегося без него веселья он не переносил. Некоторое время он с безучастным и даже равнодушным видом стоял возле, в уме старательно доказывая самому себе, что все это липовое, натужное веселье ему лично ни к чему.

Сережа прогулочным шагом прохаживался возле ярко озаренного крыльца, и какая-то дурацкая хандра заворошилась в его горле. Сразу же вспомнилось детство: периметр пионерского лагеря, пикульки из акациевых цветов, тоска по дому и подкатывающие к глазам слезы, которых не удержать, но которые удерживать надо. Он повзрослел, но взрослость его, как шрамами, помечена сильными детскими переживаниями, которые дают о себе знать время от времени. Он вовсе уж свыкся со своей отстраненностью от того бахающего, полнящегося криками пухлого зала, отрезанного дверями и светом уличного фонаря. Он даже решил дать крутоля вокруг всего пансионата, как вдруг на крыльцо вышла девушка, та самая, белобрысая хохотунья, — но уже без бурной своей многоголовой свиты. Она была нетрезва, пробовала перешагивать через свои же колени, отчего-то оказавшиеся у нее на пути. Она прыскала от смеха так, что ноги ее, и без того существующие своей особенной, отдельной жизнью, сильно подкашивались.

Сережа вдруг расхрабрился, и, сделав вид, что возвращается с философской, натруженной тяжелыми мыслями прогулки, пошел к крыльцу; и пошел как-то широко, нахрапом. Только что он бродил по краю темноты, а ночь стояла за его спиной, растянутая во всю ширь, как полог,

а сейчас он выступил из нее, как выступают из-за угла. Девушка, занятая расшатавшимся крыльцом, тут же заметила его и ойкнула неожиданным баском. Ее колени, оставшись без внимания, немедленно неловко подломились, и она просто рухнула на крыльцо, и теперь, сидя на голых ступенях, выглядела совершенно беспомощно.

— Я думала, — оправдывалась она, смеясь истерично-клоунским смехом, точно он застал ее за кустиком сидящей в характерной позе вприсядку, в которой делаются интимные, журчащие женские дела, — я здесь одна совсем. Ты меня напугал, просто не знаю как, просто ухохотаться. Сейчас икать начну, не знаю, от страха или от смеха.

— Прогулялся немного, — попробовал оправдываться Сережа.

— Видишь, — сказала она, — я совсем, совсем, совсем пьяная.

Сережа стоял, не зная, куда девать руки, и ответил ей, что сегодня здесь все пьяные, и указал пальцем на дверь, из-за которой неслось грохотанье и вопли расстанцевавшей всюю поэтической компашки.

— Как тебя зовут? — спросила она, а когда он ответил, попросила: — Подайте даме руку, Сергей батькович.

Он увидел, когда она поднялась, что она чуть ниже его, худощава и высоколоба, светлые волосы ее были тонкими и выющимися и казались неприбранными. В другое время он сказал бы, что в ней не было ничего такого, что бы его могло так легко привлечь. Все ее поведение было немного примитивным, и всякая умильность движений казалась нарочно наигранной, например, когда она легкими, какими-то даже неумелыми щипками поправляла на ляжках отчаянно трещащую, наэлектризованную юбку, приставицу к ногам. Пальцы ее были длинные, но немного грубовато сложены и некрасиво красны.

— Мне просто противопоказан коньяк, — сказала она, ежась как от холода, отчего заострились ее локти и плечи, — а мне всегда его наливают всякие засранцы, пользуясь моей невнимательностью и доверчивостью. Вот только стоит отвернуться.

— Коньяк я тоже не люблю, — поддержал Сережа.

— Ладно, — сказала она неожиданно серьезно, — пошла я спать, а то свалюсь еще за столом, кто меня потащит тогда?

— Я могу дотащить, — серьезно заметил он.

— Будешь ждать, пока я надерусь окончательно? — усмехнулась она. — Нет уж, там и без тебя тогда найдутся провожающие. Лучше уж я пойду сейчас и своим ходом.

— Там темень кругом, — загадочно пригрозил Сережа, — я могу проводить вас до корпуса. Одна можете не дойти.

— Вот как, — игриво усмехнулась она, — а я не боюсь темноты.

— Там, в кустах, кругом оторванные ноги валяются, — пошутил он, — я еще днем заметил.

— А у меня крепкие ноги, — так же шутя, ответила она, — не так-то просто их будет оторвать.

— Да мне все равно по пути, — обреченно сказал он, уже не надеясь на поблажку.

— Ладно, ладно, — сказала она, — пошли. Только не смей больше, а то меня тошнить начинает.

Она взяла его под руку, обняв ее двумя руками, притиснувшись грудью к плечу его так, как разве прижимаются любовницы и любящие жены, и они пошли по направлению к спальному корпусу, пока невидимому, но предполагаемому. Шли на ощупь, ориентируясь на местности исключительно подошвами. Вокруг них владычествовала звездноглазая чернота, изредка подсовывая им всевозможные препятствия: то вспучивала на их пути круглую скалу акации, которую Сережа легко определял по запаху; то маскировала поворот асфальтовой дорожки еле заметной мутью газона, которую предавал предательский хруст гравия.

— Ты обязательно должен мне прочесть свои стихи, — тут же попросила она. Он ответил, что вовсе не умеет выучивать никакие, а уж, тем более, собственные стихи, и читать их ему вовсе пытка, но, если поднатужиться, как следует, мелькнет такое... Вот, кажется, совсем неловкий сюжет: он,

она, тяжелая, зависшая над головами атмосфера расставанья, не жалей, поверь в меня, мне хочется быть сильным очень, хочу хоть раз спасти тебя, и что-то в этом самом духе, что-то — парам-парам, от какой-то там, кажется — черной — ночи.

— Дальше, — попросила она.

Дальше, ответил он, все изгладится, лишь только на плечи упадет усталость, как апельсиновую дольку ее проглотить, эту малость, а сколько их еще осталось? Он понял, что все скомкал, что прочел прескверно, без нады, а поэтика заданного вопроса отзвучала с какой-то уже заведомо чухлой мыслью. Не нужно было этого, нужно было вот как: душу мне раскрой на одном листке, и в конверт, и адрес напиши, вот совсем чуть-чуть и в моей руке то, что одному не разрешить... Это чувственной и не так туманно.

— Никакого тумана я вообще не вижу, — ответила она, и Сережа сообразил, что, предательски вырвавшись, мысль его отзвучала вслух. Спальный корпус пансионата громадился перед ними, и от него шел слабый свет: окна были полны электрической желтизны, но странным образом были не ярки и не озаряли даже газона под ними.

— Но то, что ты настоящий художник, признаю прямо и утверждаю это, — сказала она. Признание было приторным: Сережа кивнул, но, поняв, что кивок его был виден лишь темноте, поспешно заговорил, боясь, что обидит ее. Он, конечно же, художник; художник в нем обретається, сколько он помнит себя, с его помощью он с самого детства рифмует каждый шаг своего существования, и, обходя моря и земли, глаголом жжет сердца людей, он пишет песню грустных дум, он ловит сердцем тень былого, и этот шум, душевный шум... снесет он завтра за целковый...

— Какой ты миленький и свеженький, Сережа, — вдруг сказала она задорно и вздохнула ладонью его челку, — просто с ума можно сойти, какой молоденький. У тебя, наверное, и девушки-то еще нет, а?

— Была девушка, — как можно солидно ответил Сережа, не зная, куда деваться от возбуждения, прихлынувшего к его сердцу, спохватился и немедленно отрекся: — Но мы расстались на время.

Вдруг короткий промельк — Юлечка как дразнящее трепыхание пульса, короткое, одиночное. Убрать же с него пальцы: теперь он бьется где-то сам по себе, и его набухающая упругость больше не ощутима. Теперь это заросшая коростой парашина в памяти, даже не чешется, и скоро даже не вспомнить ее местоположение.

— Что же такое случилось? — улыбаясь, немного нарочито играя в озабоченность, спросила она.

— Чувства решили проверить, — ответил он, и она рассмеялась задорно, не обидно, но так, что ему захотелось подхватить ее смех.

— Ты просто чудо, — повторила она, вдруг развернувшись, словно боясь оставаться с ним дольше, и, не попрощавшись, вошла в здание. Она словно ожидала, что он пойдет за ней, но Сережа все бестолково стоял, чувствуя кожей ритмические колыхания ночи, и даже принялся их рифмовать, ища нужных слов, но ему показалось сначала, будто что-то его сбивает, какой-то шум, выныривающий из темноты, как вдруг он вспомнил, что просто пьян.

Он возвратился к себе походкой разболтанной, мягкой, даже — ватной, поначалу каким-то лунным, странным шагом пробредя по неизвестным коридорам, потом заворотил черт-те куда, в какую-то кладовую. Там он погротал чем-то немного, посмеялся над своей неловкостью и над шваброй, не успевшей вовремя смыться, и вдруг внезапно обнаружил перед носом дверь своей комнаты, с удивлением отыскал в кармане ключ, выпыл в пустоту и лег сразу. Он тут же приснился сам себе купающимся в озере; отфыркивающим лезущую в рот воду. Позже явился Саженин: сидел рядом, пробовал петь, обиделся на невнимание и пропал из комнаты, но лишь голос его, забытый здесь хозяином и оттого еще более обозленный, взволнованно бурчал и бубнил из угла. Несколько раз Сережа грубо шикал на него, давья какой-то бесчеловечной громкости своего шипенья. Голос плачуще оправдывался, толково все объяснял и умолкал, но вскоре начинал заново свою волюнку. Так прошла ночь.

На следующее утро, за завтраком Сережа подумал вот что. Так бывает в классической литературе: он ждет ее, но ее все нет. Он бессмысленно и без аппетита завтракает, потом бродит среди людей, ее разыскивая, обязательно катается, например, в лодке, гребет сам, не замечая брызг, выпавших на долю белоснежного полотна его костюма; высаживается на берег, ногой отталкивая лапу злому, привыкшему, что ему все дозволено, мопсу, не замечая катастрофических размеров мопсовых воплей, — но ее все нет. Здесь обязательна душная, щемящая атмосфера курорта, костный хруст озерной гальки под подошвой и академические, статуйные позы на вершине рыжего крутояра.

Вот только все было вразрез классике: она была здесь, его ночная блондинка, здесь, в столовой, он увидел ее сразу же, лишь только вошел. Теперь Сережа не знал, что ему делать: он ожидал, что она улыбнется, даст ему знак, но она кушала тихо, вся задумчивая и мирная, глаз не поднимая, не отрывая взгляда от лакированной, зеркальной глади обеденного стола, в глубинах которой в акробатическом висянии вниз головой принимал пищу ее матовый двойник. Пытаясь отвлечься, Сережа принялся рассматривать стены, изобилующие вертоградом, выполненным трепетной рукой оформителя. Виноградники были как сосны рафаэлевых мадонн, академически свежи и розовы, но площевые поползновения лозы были ремесленно декоративны. В голову все же лезла мысль, что скорее всего вся эта масляная мазня удивительно полезна желудку. Впрочем, столовая была полупуста, поэты отсыпались; многим было худо; некоторые же завтракали за двоих, словно издалека готовясь к будущему жертвенному — ради тонкого искусства стихосложения — посту.

Девушка все так же сидела, безропотная, опустошенная, мелко и часто жуя; но вот кто-то, решительно отстранив творог и кофе, подошел к ней. И вот вам поведеньице, развязные движения гарцующих ног! А она распустилась, подняв к нему лицо, уже просветленное счастьем. Со стороны они выглядели чуть ли не любовниками: он все принимал и принимал позы, попугашиному демонстрируя весь спектр своего оперенья; она изахалась, изохалась, словно он рассказывал ей нечто сногсшибательное, полувоенное какое-нибудь, на грани исторической драмы, а не о том, как он громко, на весь банкет, тосковал вчера после ее ухода. Ей было подано острое его локтя, выглядящее как какое-то неизвестное науке оружие. Какую-то из своих рук она сунула ему под мышку, и они пошли на выход. Сережа с тоской смотрел на выражения их удаляющихся спин: его — торжествующее, ее — сладострастное.

Когда после завтрака началась работа съезда, Сережа понял, в чем именно заключалась вся путаница: банкет был преждевременен, и теперь никто уже не думал о поэзии. Как назло, поэтические мастер-классы были размещены в первом этаже, в гостиничного вида, но с претензией на домашность, фойе и в площевых коридорах, настолько сонных, что даже читаемые вслух лучшие строфы в этом воздухе казались ужасно вялыми. Поэты старались расположиться поудобней — на диванах и креслах, которых, слава богу, было вдоволь напихано. Кое-кому, в частности, пренебрегшим вчерашним банкетом, отлично выспавшимся поэтессам, достались стулья. Съезд представлял собой теперь театр статики, скопище беспечных, уютных поз, демонстрацию многообразных зевков, обнаруживающих анатомию гортаней. Все же кто-то пробовал работать, декламируя свои стихи, надеясь взъярить ими умы и взбунтовать сердца. Кто-то сумасшедший умудрялся конспектировать реальность, заноса ее каракулями в ученическую, удивительно голубую тетрадь в линейку, даже, кажется, подписанную по всем правилам средней школы (такая-то, участница мастер-класса такого-то). Но вид Саженина, продрогшего, хмурого, с силой изображающего беззаботность, нетвердо прогуливающегося за окнами, сбивал чтеца со строки и ритма, а писца с толку. Кажется, решили все, кто к тому времени проснулся, он ищет вход в столовую.

На обед двинулись шумной толпой: там и тут, стороною и друг за другом, шли сколотившиеся компашки. Сережа высматривал Саженина, успех даже по нему соскучиться, но Саженина нигде не было. Шли меж клумб, до-

рожками и не разбирая дорожек. Было шумно, и среди всего движущей силой, вращающимся ротором, облепленным, как заряженными частицами, мужской частью съезда, шла она. Даже ветер гулял исключительно вокруг нее, льющую пузыря ей юбку, на радость надутых, обездоленных поэтесс. Сережа подумал пристроиться к ее компании, но все было бесполезно: внимание девушки было слишком размножено. Тогда Сережу одолела идиотическая, душераздирающая гордыня, потребовавшая у него клятвы, что больше он никогда и ни за что, и вообще, у него есть Юлечка, и ему вовсе ни к чему терзать свою душу, ища внимания малознакомой женщины. Дальнейшее его поведение было достойно всяческих похвал: он был тверд, он был горд, он просто обедал и вовсе не замечал ее, доступную всем ее окружившим, оцепленную экстазами и волнениями. К тому же в столовую явился Саженин, сел напротив Сережи и стал наворачивать за обе щеки так, что на него стали оборачиваться с соседних столиков, советуя взяться за ум и вести себя по-человечески. Впрочем, он очень быстро насытился, затем долго сидел мокролобий, с жирными, сосисочными губами, сохраняя заговорщический вид, глядя, как Сережа пытается вилкой розовую, похожую на палец сосиску.

— Что-то ты вчера пропал куда-то, — сказал он, и тон его был вопрошительным. Выражение лица Саженина было сосредоточенным, язык его делал во рту свое дело, разыскивая остатки пищи.

— Спать пошел, — ответил Сережа, напряженно глядя мимо него. А ей, отказавшейся от мутного компота с ядрами урюка и пушистыми посторонними ошметками на дне стакана, какой-то пронырливый удачник пер чай, лицом счастливый, хотя от кипятка и плавилась его пальцы.

Саженин проследил его взгляд и сощурился.

— Я тут приглядел себе одну, — сказал он, — из местной обслуги. Я покажу тебе, вон она, в кухне.

Он пальцем показал Сереже: в кухне, меж цинковых поверхностей кастрюль и плит, со знанием дела бродило нечто тучное.

— Нет, — сказал Саженин, — не та, не смотри на самую жирную. Вон та, без халата.

Возле входа в столовую — оживление: сытая, болтливая гурьба двигалась к выходу, густо суетясь и соревнуясь в красноречии. Вышли вон, на улице раскурили неизменное свое курево, немедленно посерьезнев, словно что-то такое добавляют в сигареты, и среди них обьявилась опять она: вся обьята светловолосым дымком, ментоловую сигарету крутит в пальцах, другой рукой бережно держит свой живот, как это делают беременные.

— Как там мастер-класс? — трещал надоедливый Саженин, которому все было невдомек.

— Все в порядке, — не сразу ответил Сережа. — Почему тебя не было?

— А, — отмахнулся тот, — думаю, никому бы не понравилось, если бы я наблюдал там под чьими-нибудь раскидистыми, любовно выращенными виршами. Особенно автору.

Они вышли на улицу, и Сережа вздохнул облегченно. Все было на месте: она, уже измаянная кавалерийским нахрапом своих кавалеров, норовила отвязаться от привязчивых и горластых, таскающихся за ней хвостами. Стоял хороший денек, без облаков и без дождя, хотя и с лужей, невесть откуда взявшейся и жестоко растоптанной (от нее осталось мокрое место) многими ногами. К столовой подкатили три автобуса, с самым мирным видом подвалили к тусовке, видя, что на них не обращают никакого внимания, один из них призывно крикнул, приглашая. Тогда в автобусы полезли все, отшвыривая незатушенные окурки. Зады поэтесс, забирающихся в салон, топырились перед лицами влетающих вслед за ними в автобус поэтов. Сережа пробовал быть равнодушным: влез в автобус наобум, не разглядывая лиц, уселся на первое же свободное место возле прохода, принялся нарочито болтать с Сажениным, устраивающимся в соседнем кресле у окна, о всякой дряни, не относящейся, в принципе, ни к чему.

Потом автобусы кавалькадой дружно покатали знакомым леском, затем, из леска вынырнув, мощно пошли по шоссе, показывая чудеса скорости. Пассажиры, переваривая пищу, дружно онемели; кто-то уже всю дрыхнул,

и кадык его знакомо остро вытарчивал из-за воротника; кто-то, ответственно листая рукописи, наносил на поля карандашные каракули, становящиеся еще каракулистами из-за постоянной тряски, — и мысль, заключенная в них, была чудно кудрявой.

— Я все наблюдаю, что творится за окнами: просто великолепие какое-то. Какая-то безумная монотонная, но чрезвычайно прекрасная поэтика.

Она говорит, видимо, ожидая, что Сережа подхватит на лету.

Он, не упуская момента:

— Красота — это орудие труда для поэта, самое что ни на есть грубое. Это орудие без шестерен, но требующее такой ласки и смазки, каких не требовал еще ни один механизм.

— Орудие — грубое слово.

Только бы не останавливался этот бег, эти раскаты двигателя, раскаты особого тембра, с изюминкой, с душераздирающей баритоникой, чтобы можно было вот так, с легкой, немного неудобной болью в ребре, болтать черт-те о чем.

— Как там твоя компания?

— Надоели. Болтовню, которая ни к чему не приводит, ни к чему не обязывает, считают за правило. Опустели всего за сутки так, будто слова, которыми говорят со мной, нарочно за месяц вызубрили, и теперь слова кончились, а новые зубрить некогда. Пока все спят, я сбежала к тебе.

— Только я вот чего не понимаю: ведь кресло было занято.

— Сколько же нам еще ехать? Кажется, нас решили уморить дорогой.

— Я бы ехал и ехал еще, дорога иногда умиротворяет настолько, что с ней свыкаешься напрочь, врастаешь в кресло.

— Я тоже люблю дорогу, но не в автобусе. Автобус тянет, карабкается, рычит, и мне всегда в нем противно, от него меня тошнит, точно он пропелтый, небритый работяга, вызывающий уважение лишь на расстоянии, когда не чувствуешь его носом. Я вообще не переношу всяческих моторов, я словно чувствую скрежет всех их колесиков, валов, поршней, всю эту механику, все трение, все у меня на коже, в голове. Особенно плохо, когда они останавливаются. Когда работают, тут срабатывает эффект скорости, полета, я наблюдаю движение, а когда все утихает, меня начинает мутить и сгибать пополам.

— Совсем недавно я открыл для себя, что даже в рвотных спазмах можно искать вдохновения, ловишь себя на мысли, что вдруг, выплыв из себя все накопленное и лишнее, вот только останется от этого твоего дурацкого состояния одна горечь во рту, как тут же начинаешь предаваться размышлениям. Конечно, соглашусь, что мыслишки сплошь черные, но ведь я говорю о принципе.

— Что-то мы с тобой размудрствовались. Это со мной часто бывает: вместо простой, человеческой болтовни одна лишь заумь, даже иногда самой становится противно. Думаешь — как меня вообще терпит этот человек?

— Ничего, человек терпит тебя вполне даже. Если это вообще можно считать за терпение. Нет, это другое, что-то, уж точно не похожее на терпение, а скорее на выживание человека из дурацкого сна. Знаешь, бывает такое, задремал на чуток, а потом целый день ходишь, как вареный, и целый день вспоминаешь, что тебе приснилось, как ты спешешь куда-то, и тебя даже подгоняли чуть ли не плеткой, а идти ты не мог быстрее, чем бегают улитка, и что-то там у тебя при ходьбе чешется, и чешешь, и чешешь, и место никак не найдешь, а чесать надо, и идти надо, и просто черт знает, что за сон.

— Мне кажется, когда я пришла, ты еще спал. Ты смотрел как-то так, словно сквозь меня. Наверное, думал, что я тебе снюсь.

— Такое со мной бывает все время. Сплю, начинаю разговаривать с кем-нибудь, постепенно прихожу в себя и чувствую, как плавно разговор, начавшийся еще во сне, из сна составляется и уже ведется наяву и уже о действительности. Но в нем чувствуется какой-то шутовской привкус, с которым ничего не можешь поделать, сам не понимаешь, в чем его комизм, но поспешно начинаешь исправлять его, там посмеешься, там обратишь все в шутку.

Вот тут возникла пауза: наверное, от того, что сменились ритмы, раскашлялся двигатель, умерив пыл; автобус дал крен, свернув с эстакады. Почему так происходит, подумалось; ведь почему-то прошлое, кажущееся еще вчера бетонной глыбой, теперь едва теплится, едва выглядывает скромно из-за угла, тощенькое, тщедушенькое; в нем, в этом прошлом, наличествуют грозы и молнии, какие-то пустопорожние беспокойства, но беспокойства — молчком. Как-то все приходилось мельтешить перед глазами, своими и чужими, куда-то обязательно вбегать, надеясь застать врасплох, чтобы разразиться угрожающим ором, вместо того, чтобы грамотно вторгнуться по-хозяйски, может быть, в лохматой, мокрой от снега шубище, или в каком-нибудь умирительно-трогательном джемпере. Где-то на дальних, еще как следует не исследованных грядах памяти проклюнулась мысль — у кого-то подслушанная, кем-то нарочно туда высаженная — о том, что именно безусой юности присуща способность с легкостью ставить крест на прошлом, неудавшемся, несбывшемся, но которого, в сущности-то, и не было вовсе. Ему, перечеркнутому, окрестованному, с ровной, знакомой автостреды нырнувшему в перелесок, теперь осталась только альбомная, фотографическая статика. Перелесок, казавшийся от невидимого присутствия ветра всклокоченным и развеселым, грудью встречал автобус. Жидкие его березки, конфузливые осинки торжественным строем стояли теперь, замерев на тонких, подламывающихся ножках. Автобус из тени, показавшейся в какой-то момент тотальной, выпер на свет: к бесконечным, словно обкуренным, в сигаретной дымке просторам, к далекой, смешной мозаике домишек, которых, кажется, несли, несли и рассыпали вдоль реки. Все в автобусе, проснувшиеся окончательно, внимательно и хмуро смотрели в окна.

— Интересно, — вопросительно сказал Сережа, — столько было у нас разговоров, а я до сих пор не знаю, как тебя зовут.

Она повернула к нему лицо, оторвав взгляд от дальних, чертовски притягательных пейзажей, и ответила, что ее зовут Юля, но все и всегда зовут ее Юлечка, и ему лучше звать ее Юлечка, потому что ей больше так нравится, чем детское, игрушечное Юля и юляще-якающее — Юлия. Вот так, наверное, втянув когти, дьяволицы признаются в любви священнику, и их бесстыдный тон, и неожиданность их сладострастно пунцовеющих признаний подкашивает ноги. В ее невинном сообщении не было ничего, в сущности, дьявольского, однако Сереже стало не по себе. Такие совпадения суть знак свыше, знак тотальной, божеской слежки, вон, например, из-за ближайшего облака, видимого сквозь автобусные стекла. Это предостережение, подумал он, словно мне предложена и передо мной развернута калька греха, хорошо видимого сверху, еще мною не совершенного, но уже поданного в развернутом виде, отлично просчитанного и даже с угла засаленного. Кажется, уж давно одолено беллетристкой: и обстоятельная формула соблазна, проштудированная до дыр, и взгляд, традиционно брошенный, но сразу же отнятый, и струйка бубли, кудряво протекающая через пульсирующей Юлечкин висок. Но как же противостоять этому профилю, просящемуся в какой-нибудь Гомеров певучий гекзаметр, и всей этой беспечной милой прелести, какой-то без притязаний, без этих маленьких ужимок, без раздражительных затей, и этим мурашкам, покрывшим обнаженное, кажущееся бесконечно беззащитным плечо?

Первым на мушку экскурсии попался какой-то местный музей, и без того выглядящий взволнованно. Фасад его был потрепан, тут и там виднелись цементные нашлапки, старательно растертые, но еще влажные. Колонны, эта обязательная часть обмундирования всякого уважающего себя музея, местами также были подлатаны и даже оштукатурены и побелены, однако швы между прошлым и настоящим были отлично видны.

Музей содержал столько великолепной чепухи и был так торжественен и чопорен, что поэты совершенно онемели, бродя по залам. Смотрели минералы, бесконечно колочие и невозможно драгоценные. Смотрели рельеу, скрученную узлом. Смотрели стол из чистой меди. Возле выхода стоял пулемет, грозный, но, скорее всего, беззубый, и, задрвав нос, нес революционную свою вахту. Сережа бродил вслед за Юлечкой, стараясь быть незаметным, но

в удачной невидимости его был изъян. Бродя вокруг нее да около, он обязательно то касался ее бедра костяшками пальцев, то склонялся вместе с ней, виском к виску, к очередной фотографии, составленной из кусочков, испуганно спрятавшейся от безжалостного людского мира за толстым стеклом витрины, чтобы взять граммuleчку ее тепла, чтобы испытать деликатным виском прикосновение ее локона.

Из музея прогулочным шагом пошли по великолепному парку, по его аллее, заставленной по обеим сторонам резными деревянными буратинами (правда, с толстыми отечественными носами) и косматыми медведями. Вооруженные весельем, прошли парк насквозь. На выходе предстала перед экскурсантами избушка, без курьих, впрочем, ножек, размалеванная по последнему слову фольклорной моды. Возле резного крыльца, приплясывая под жалобные переливы гармони, стояли две ведьмы, то ли пьяные, то ли беззубые, и шепеляво голосили во все горло. Гармонист был точно отвратительно нетрезв так, что ему не доставало и шести ног, отпущенных ему на время игры, из которых, впрочем, только две были его собственные, а остальные четыре — табурета. Но играл он лихо, подбрасывая гармонь на колене, как будто, нянча, хотел ее расшевелить, а после принимался рвать ее надвое, причем в этот момент вид у него был особенно зверский.

В избе пахло всем тем, чем обыкновенно пахнет в избах. Ведьмы, отголосив свои “ай, люли-люли”, продемонстрировали поделки, сварганенные местной фольклорной братвой из шишек, из костей животных (видимо, съеденных этими самыми ведьмами: это, во всяком случае, читалось по хитрым их глазам), из змееподобных корней и бумаги.

Потом экскурсантов угощали ужином на открытом воздухе. Все швыркало похлебку, расположившись, кто как умудрился, на крыльце, на пне, на медвежьем колене, возле буратин, а то и вовсе на траве. Дули чай из электрических самоваров, над макушками которых зачем-то орудовал сафьяновым сапожком ничего не смыслящий в розжиге самоваров гармонист. В нем все смутно подозревали Ивана-царевича, находящегося на пенсионном обеспечении у государства. Лопали кисель из плесени, но со сладким клюквенным вкусом. После ужина все вычурно прощались с ведьмами и с кустом, под которым дремал Иван-царевич.

Потом экскурсия подкатила к обрывищу, на самой вершине которого, как рог единорога, росло уродливое, неизвестного сорта дерево, почти без листвы, почти без ветвей, толстоствольное и мощное. Автобусы, вздохнув воздуха полной грудью, открыли двери, в которые немедленно вывалились пассажиры.

Как уже говорилось выше, за обрывом открывались просторы, с дымком и с загогулиной речки, в стеклянных водах которой лениво купался близнец солнца. Обрыв был страшен, кажется, совершенно бездонен, и на его краю, взбешенный посторонним присутствием, рвал на поэтах и поэтессах одежды шквальный ветрище, полня воздухом длинные юбки и рубахи. Кто-то из поэтов полез в самый обрыв, цепляясь пальцами за траву, потом вскарабкался на дерево и расселся там среди коренастых ветвей, ничуть не страшась оказаться сброшенным в самую пучину, к горбатящейся, ссутулившейся ленте реки. Сережа помрачнел, когда Юлечка прокричала храбрецу что-то ободряющее (добрую половину слов разметал над пропастью шквальный завистник). Вот с этого самого момента Сереже уже не было покоя, и все существование его со стороны, наверное, оценивалось как волоченье за Юлечкой, как нарочно ставшей задумчивой и прохладной, тогда как ему требовалась ее ответная пылкость, даже — пусть! — липучая страстность, не очень, если хорошенько поразмыслить, уместная и прилаживаемая к такому моменту. Ее, замершую на краю обрыва, он рассматривал теперь с жадностью, самого себя уверяя, что пыл его хорошенько прибран за пазуху и вряд ли приметен окружающим. Он вдруг задумался, что вот ведь оно, вот набухание, вот завязь, то, что следует запомнить, потому что, как бы оно и ни было существовавшим, однако никогда не запоминается, как никогда не запоминается первый младенческий вдох. Если же, случаем, оно и уцепится каким-нибудь случайным коготком, то все равно высохнет, высушенное временем, рассыплется, как забытый гербарий, потому что прикосновения к прошлым чувст-

вам, уже давно истлевшим, уже давно замененным новыми, усовершенствованными, всегда неосторожны. Когда же оно рассыплется, еще и раздавленное какой-нибудь случайной, неосторожной подошвой, перехода — из одного состояния в другое — уже не вспомнишь.

Снова подошел Саженин, вооруженный какой-то новой, просительно-виноватой миной, переполненный желанием занять брошенного на произвол судьбы скучающего друга, и заговорил, и заговорил.

— Смотри, — сказал он (но это было зря, потому что Сережа и так не отрывал от Юлечки взгляда), — какая-то она, если смотреть отсюда, кривая и тощая.

— Сам ты кривой, — ответил Сережа зло, — сам ты просто слепошарый.

— Тощая-тощая, — не замечая Сережиного волнения, продолжил Саженин, — вся заросшая черт-те чем и, наверное, грязная и заразная.

Сереже захотелось насвистать ему по мордасам, по уже совсем не дружественным, за всю его бесшабашность, за дурацкие намеки и за бесхребетность, как вдруг он понял, что Саженин говорит о речке, которая, действительно, была тоща и крива. Но Сереже уже не хотелось выпускать воздух из своей раздувшейся обиды, хотя она и была надута до отказа, до тревожного звука, который она издала бы, если ее можно было бы задеть.

Тем временем автобусы зычно прокричали что-то о времени, которого, по всей видимости, осталось мало до чего-то; в их голосах чувствовалась усталость и голод; их голоса пробудили нервическую суету и толкотню. Сережа лихорадочно стал искать взглядом Юлечку. Она какой-то дьявольской силой была отнесена далеко от всех, к живому, шевелящемуся леску, и гуляла там в своем, таком же живом и шевелящемся платье, послушная стихии, полная невероятной, неожиданной кручины. Он побежал к ней, радуясь, что всю его поспешность можно списать на суету возле автобусов. Как же, как же: пойдем скорее, все ждут тебя; конечно же, без тебя не уедут, но все же; понимаю, мне тоже трудно расставаться с воздухом, с травой, с простором, но все там скоро начнут психовать из-за задержки. Однако она уже шла навстречу, а он думал о том, что ни за какие коврижки теперь не упустит своего, что ему уже пора отбросить покрывало своего мальчишества, теперь ставшего катастрофически неудобным, воинственно ворваться в автобус впереди нее, шпагой расчистить ей путь, вышвырнуть того, проткнуть этого, чтобы занять два места, ей и себе, и весь обратный путь чувствовать ее плечо, локоть, запах.

Она подошла, коротко взглянув на него, и они молча пошли к автобусам.

— Мне кажется, — зачем-то спросил он, — ты от меня бегаешь.

Конечно, вопрос вышел таким уродом, что Юлечка удивилась и пожала плечами, не найдя, что ответить всерьез, но все-таки спросила, с чего это он взял.

— Мне так показалось, — сказал он, и в голосе его проявилась препротивнейшая дрожь: детство, слабость, малодушие. Вот так всегда этим противоречием, паразитирующим на тебе, все портишь. Это когда вместо того, чтобы спуститься на неслышных крыльях, оттопырив их в стороны и вверх, как это делают птицы, и накинуться сзади, впившись поцелуем в шейку, в бесконечно родной, пушистый, вкусный, золотистый позвонок, пахнущий всеми фруктовыми запахами сразу, начинаешь странную игру, по правилам которой пытаешься казаться больше и громче, как будто перед тобой медведь, а не девушка, вскакиваешь на первый же попавшийся пенёк и с криком вразмахку работаешь руками и чувствами. Уже многое ясно в своем неудовлетворительном поведении, но расправу над собой откладываешь, ходатайствуя об отложении рассмотрения обвинительного приговора, и, не смотря на превентивные меры, творишь бесчинства дальше.

— Просто так, — сказала Юлечка, — просто я подумала, что уже прошло целых два дня, вспомнила, как хорошо сейчас дома, на даче, цветы и клубника, и все как-то стало горько, я заскучала, и у меня, как говорят старики, тут же сердечко расшалилось. Мне даже запахи домашними кажутся, так и стоят в носу, как вкопанные. Нюхаешь их, нюхаешь, и слезы на глаза наворачиваются.

— Зачем же скучать, — заторопился Сережа, — у тебя же есть я, такая погода вокруг, вот ветер, вот речка.

— Это ясно, — ответила она, и он понял, что ничуть не сломил обороны ее хандры, и так и шел остаток пути до автобусов какой-то особенно бережной поштупью, словно из ведра щедро окаченный нежностью. Они влезли в автобус, минуя укоризненные взгляды, минуя общее душевное внимание, минуя подчеркнуто не осуществленного в этом мире Саженина, и сели в два свободных кресла. Все сбывалось — прохладное касание локтей, ее цветочный запах, бесконечная, ровная теплота ее близости. Автобус рывком тронулся; Юлечка все время нервно дергала оконную шторку, Бог знает чего от нее требуя. Она была заметно расстроена, а подобные беспричинные расстройства дают право предъявлять гневные претензии бестолковым вещам и предметам, обязанным, но не соизволившим угадать человеческий каприз. В конце концов, шторка была распялена во всю свою ширину, чтобы ограждать интимную атмосферу до конца поездки.

Автобусы шли гуськом, мордами суясь напрямик в сгущающиеся сумерки. Жуткие, воспаленные глаза встречных автомобилей пронеслись мимо с рокотом, усиливающимся и убывающим по синусоиде, но, кажется, никогда не пропадаящим. Юлечка дремала на Серезином плече, и он замер, ощущая приятную тяжесть ее головы, чувствуя, как напряжен, когда, амортизируя плечом, пытался как-нибудь облегчить ей тряску и болтанку. Он сам будто закаменел внутренне, даже закаменел, и лишь податливое плечо его теперь было пухло и подходяще мягко. Что-то такое случилось внутри Серези, какая-то катавасия чувств, даже переполох, когда сам, вроде бы в целости и сохранности, со всем тебе положенным набором мослов и шерсти, остаешься на месте, но дух твой, твоя сущность разрастается до вселенских величин; так что уже вовсе и не ты сидишь в автобусе, а машина раскатывает внутри тебя, громадного, невозможно громадного.

Автобус подпрыгнул на какой-то неожиданной кочке, и его потрянуло так, что все дремлющие в нем проснулись. Юлечка так резко кинула носом, точно желала лбом расколошматить собственное колено, проснулась где-то на финише кивка и выпрямилась, как-то уж очень осторожно оглядываясь вокруг, будто постигая утраченную во сне действительность.

— Приехали уже? — осведомилась она густой хрипотцой и безупречно по-детски, кулаками, протерла глаза. Вот оно, подумал Сережа, мое заспанное, чуть припухшее и румяное диво, немного неприбранное, с тонким, угловатым розовым следом поперек щеки и через висок. Его распирало упоение, черт знает откуда взявшееся. Юлечка вновь прикорнула на Серезином плече, глазами, еще не поверившими в наличие окружающего мира, поглядывая вокруг, все время немного прищуриваясь, как от избытка света. Господи, ну вот почему больше всего хочется писать, когда занята голова и руки: женщинами и бухгалтерией? Вот так и выдал бы какой-нибудь хорей, хорейк, хорейшечко какое-нибудь: та-та та-ти, та-та та-та. Ведь сколько потом и чего из вышперечисленного ни кончай, сколько ни беги потом — голый и мокрый между лопатками — к листу, муза, словно не прощая опоздания, не дастся. Покажет язык, бок, но не дастся, пришлет вместо себя какую-нибудь второсортную, видимо, по вызову, но, как и всякая проститутка, та будет нестарательной, бесстрастной и обязательно фригидной. Ведь столько вхолостую прожито сжук, которые, как раковины, так и остались пустотелыми, но не зарифмованными, и сколько рифм и ритмов было заверчено вхолостую, оставлено в закоулках памяти, — и не выцарапать их теперь уже, хотя все они будут еще сниться и выглядывать из-за угла, дразнясь.

Все кончилось: автобусы, пискнув, встали нос к носу, как это делают собаки, когда принохиваются друг к другу, и затихли, и тут же тускло, как-то даже уютно зажглось их нутро. Устало разминая ноги и шеи, под руки и вразной экскурсанты побрели к корпусу профилактория, казавшемуся лежащим среди мрака на боку. Сережа шел возле Юлечки, думая о том, как бы взять Юлечку под руку; кажется, она сама дала великое множество поводов ее коснуться, принять под локоток, дрожала, съезживалась, переплетая руки на груди, словно саму себя обнимая. Ее плечи поднимались, стано-

вась еще более угловатыми, и в зыбких жестах ее было столько холодной стремительности, колочей, как будто связанной из шерсти, столько поспешности, от которой веяло сквозняком, что Сережа и не заметил, как они вошли в здание. Прошли холл молча и хмуро, сторонясь потолочного света, поднялись на второй этаж, уже сонный, уже в неторопливых, осторожных тонах, и где-то возле Юлечкиной двери застопорились.

— Постой, постой, — попросил Сережа, взяв ее за локоть, но локоть ее оказался холоден и тверд, и неприступно неподвижен. Юлечка, порывисто высвободившись, достала ключ с прицепленной к нему голосистой биркой и с хрустом отперла дверь.

— Сережа, послушай, — устало произнесла она, но фразы не докончила, осторожно, мелкими шажками, вступила в черноту комнаты, но на полу пути приостановилась, прислонилась виском и медленно обернулась, головы от косяка не отнимая, словно ею вкруговую по косяку прокатываясь.

— Юлечка, — попробовал было Сережа, но она прервала его, покачав головой.

— Сережа, милый, — сказала она, — иди к себе, уже очень поздно.

— Нет уж, — ответил Сережа с какой-то показной бойкостью, вуалирующей собственное утомление, — еще не поздно, выходи ко мне, прогуляемся, потренируемся о поэзии, о жизни вообще.

— Я совсем без сил, — ответила она кисло, ногтем колукая косяк, — почти не спала предыдущую ночь, вообще еле держусь на ногах, а завтра рано вставать. Иди, я совсем раскисла в этом автобусе. Иди, погуляй с кем-нибудь, найди себе какую-нибудь девушку, поболтай с ней...

О, черт возьми, какой это ловкий тактический ход: все это ее отступление! Продуманный в мелочах шаг назад, на цыпочках, на мысках, цепляные за дверь, как за спасительный заслон, и обязательное давление этой самой дверью, натиск, оттесняющий Сережу, и так завоевавшего совсем немного. Так в какой-нибудь давнишней фильме черно-белый лик героини тонет в черноте за дверью. Медленно, без рывков и без всякого сопротивления; чернота, как трясина, затягивает героиню, и вот уже только бледный промельк едва виднеется, но вскоре и он исчезает. Дверь захлопывается. Круги на поверхности утихомириваются. Бульк, последний выдох. Герой, озадаченный и удрученный, остается один.

Сережа вернулся в свою комнату и сразу лег. Как же это удивительно, решил он, лежать поверх холмов одеяла, в простонародной — руки за голову, ногу на ногу — позе, как пастух посреди какого-нибудь поля, болтая ногой и насвистывая мотивчик. Сколько времени пройдет, прежде чем беспросветная чернота будто бы окаймится горизонтом и зависнет над тобой, до странности четырехугольная, как потолок. На фронте ее примешься искать романтические крапины звезд, и звездные гурты, и завихрения туманностей. Затем просветлеет, в голове и в воздухе, и засмеешься над шуткой, сном не доделанной, хотя и заявленной. Начнешь повелевать временем, скукожившимся в дымное колечко, ради забавы пустишь его трубочкой губ. Ловушкой сердца поймашь раскатистый, четкий взрыв строк, неожиданно собравшихся из первых же попавшихся слов, которые на излете ночи остынут, потемнеют и вовсе исчезнут без следа.

Проснулся он поздно. За окнами кто-то сыто ржал, пародийно декламируя чьи-то несчастные строки. Комната, наверное, всю ночь проведенная без одеяла, совершенно продрогла и выглядела теперь сердитой и нахохлившейся. Наспех умывшись, обдумывая местоположение Саженина, не явившегося ночью в комнату, Сережа прошел вдоль всего коридора, присматриваясь к обликам дверей, в которых он подозревал принадлежность к Юлечкиной комнате, наконец, нашел нужную и постучал. Возня, скрип пружин, шаги, потом все стихло. Мысль о Юлечке, материализовавшаяся, сонная, уютная, завернутая в одеяло, подкралась к двери с той стороны, лбом прижалась к косяку, забыв произнести обязательное в таких случаях “кто там?”.

— Юлечка, — позвал Сережа и вновь постучал, но теперь ему не открывали с хорошо слышимым облегчением, и пока он проверял крепость дверного замка, сообщили как-то уж слишком радостно, что Юлечка уехала.

— Как уехала? — крикнул Сережа и немного поколотил хлипкую дверь, немедленно его испугавшуюся и начавшую поддаваться, — как уехала, когда?

— Утром уехала, — ответили где-то там, наверное, сонно улыбаясь.

Сережа вернулся в комнату. Он некоторое время сидел на своей кровати в дурацкой, неудобной позе, вызвавшей атаку мурашек, которые немедленно овладели его ногой, и шарил по карманам, чем-то там впустую позвякивая. Он вдруг поймал себя на мысли, что вот так же и душа его в этот момент сидит с опущенными плечами, роясь в карманах, ищет мелочь на дальнейшее свое прожитье; находит, быть может, несколько монет и, подбросив на ладони, проверяет тяжесть имеющейся в наличии жизни. Вот она, стандартная любовная развязка, с подлинной страстью пестуемая классической литературой: белый костюм одиночества, обрыв, мирно катящиеся воды реки и неподдельное горе брошенного на произвол судьбы любовника, каменного лица, колом битый час торчащего на крутояре. Горе наше демонстративно, а позы скопированы с античных. Мы вобрали в свое горе всю мировую практику несчастья. Мы с педантичным хладнокровием подумываем о том и об этом, и черт знает о чем, и о мироздании, и о наложении на себя рук. Но, впрочем, ах, оставим все это в сторону: нам нужно, прежде всего, отыскать разобидевшегося вдрызг Саженина, чтобы он подсказал сейчас, как нам вернуться в жизнь.